

В.М. Живов

АВТОНОМНОСТЬ ПИСЬМЕННОГО УЗУСА И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

1. Специфика письменного языка и языковая ситуация древней Руси

В истории литературных языков православного славянства, как, впрочем, и в истории многих других идиомов, которым приписывается статус языкового стандарта, исследователи в течение долгого времени основное внимание уделяли соотношению черт, отражающих и не отражающих устный узус, т.е. «реальную» (с точки зрения этих исследователей) историю языка, противопоставленную «искусственным» явлениям. Главной, таким образом, оказывалась проблема взаимодействия устного и письменного языков, а целью историка – отделение «истинной» истории от тех искажений, которые накладывала на нее письменная традиция. Этот подход определялся рядом теоретических пресуппозиций и сложившихся научных интересов. Такой подход естествен и отчасти оправдан, когда ставятся задачи сравнительно-исторического изучения языков: предполагается, что происходящие в языках изменения имеют системный (органический) характер (например, характер фонетического закона), и для реконструкции этого закона необходимо устранение из рассмотрения неорганических частных, этот закон нарушающих. Методика подобного устранения была подробно разработана младограмматиками и утвердилась в языкознании в качестве общего подхода к языку уже вне зависимости от тех задач, которые ставились исследователями. В частности, при структурном описании языка те же самые элементы могли рассматриваться как инородные и несистемные вкрапления в гомогенную упорядоченность языковой системы (ср.: Живов и Тимберлейк 1997). При таком подходе, понятно, создается фантом абсолютно спонтанной, исключаящей культурную рефлексию языковой деятельности, в которой язык порождает речь как бы без участия носителя и в силу этого реализуется как полностью органическая система.

У этого подхода есть и обратная сторона. Языки специфически письменные, погруженные в культурную традицию, начинают рассматриваться как полярная противоположность органической языковой системе, т.е. как явление вполне искусственное и несистемное, не допускающее никакого органического (системного) развития. Их освоение оказывается сопоставимым с освоением иностранного языка; этим подчеркивается роль формального обучения, кодифицирующих данный язык пособий, нормативных аспектов языковой деятельности. При подобных теоретических основаниях языковая ситуация сосуществования разговорного языка с книжным языком, существенно от него

отличающимся, начинает естественным образом рассматриваться как своего рода двуязычие. Именно данная модель – модель двуязычия – прилагалась славистами для описания языковой ситуации древней Руси: такая трактовка мотивировалась в данном случае еще и тем фактом, что книжный язык восточных славян (церковнославянский) в первоначальном виде сформировался у славян южных, т.е. мог рассматриваться как в генетическом плане «иностранный» язык.

Именно таким образом рассматривали соотношение церковнославянского и восточнославянского А.А. Шахматов и С.П. Обнорский. А.А. Шахматов трактовал языковую ситуацию древней Руси как церковнославянско-русское двуязычие и, подчеркивая интересовавший его генетический аспект, называл церковнославянский язык «древнеболгарским». Он полагал при этом, что церковнославянский был быстро освоен культурной элитой Киевской Руси, стал употребляться как разговорный язык этой элиты (Шахматов 1941, 256) и в силу этого употребления постепенно русифицировался. Таким образом, отношения восточнославянского и церковнославянского в Киевской Руси строятся в понимании Шахматова по модели двуязычия: по образцу французского и англо-саксонского в Англии после прихода к власти Вильгельма Завоевателя или – что может быть ближе – по образцу латыни и французского в средневековой Франции. Церковнославянский, все более русифицировавшийся, обслуживал сферу культуры и был, как полагал Шахматов, русским литературным языком средневековой Руси. В.В. Виноградов, следовавший Шахматову, так и писал: «Русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5).

С.П. Обнорский, возражая Шахматову, резонно замечал, что ряд текстов, возникших в Киевской Руси (прежде всего Русская Правда), никак не могут трактоваться как церковнославянские, пусть даже и существенно русифицированные. Если языком культурной элиты был русифицированный церковнославянский, такие тексты появляться не могли. Обнорский полагал при этом, что русский литературный язык пошел от этих текстов, а наличие в нем многочисленных «славянизмов» объяснял тем, что в течение столетий он постепенно славянизировался (Обнорский 1960, 142–144). Несмотря на то, что эта концепция была полемически противопоставлена точке зрения Шахматова, моделью интерпретации оставалось двуязычие, хотя и с иным функциональным распределением языков, чем то, которое постулировал Шахматов. Образцом могла быть, например, ситуация латинско-немецкого средневекового двуязычия. Церковнославянские тексты (Св. Писания, богослужения и т.д.) были для Обнорского текстами на «иностранном» языке (как латинские тексты в средневековой Германии), а наряду с ними существовали русские тексты, постепенно расширявшие сферу своего функционирования и вместе с тем усваивавшие черты «иностранного» языка, употреблявшегося в качестве основного языка культуры в том же языковом коллективе.

Обе эти концепции плохо согласуются с теми свидетельствами об употреблении языка (языков) и языковом сознании, которыми мы

располагаем для эпохи Киевской Руси. Они базируются на положениях, которые невозможно доказать и которые не кажутся правдоподобными (например, о том, что в Киевской Руси культурная элита начала разговаривать на церковнославянском). Они не находят подтверждения в фактах, которые мы ожидали бы обнаружить при двуязычии при любом функциональном распределении языков (прежде всего существование переводов с одного языка на другой). И они плохо объясняют тот характер лингвистической разнородности, который мы наблюдаем в дошедших до нас письменных памятниках. Церковнославянскому у восточных славян не был присущ характер ученого мертвого языка; он не изучался ученым образом и не был языком, на котором ученые или клирики общались между собой. Что еще существеннее, церковнославянский у восточных славян эволюционировал, в какой-то мере отражая в своей эволюции развитие живых языков восточных славян, что, вообще говоря, с мертвыми языками не случается. Сверх того, насколько мы можем судить по дошедшим до нас свидетельствам, церковнославянский не воспринимался как «чужой» иностранный язык (и не изучался, как иностранный язык), так что модели средневекового двуязычия для описания восточнославянского узуса оказываются малопригодными. Тем более показательна связь младограмматического подхода, которого придерживались оба лингвиста, с использованием модели двуязычия.

В качестве более адекватной модели рядом исследователей была предложена концепция церковнославянско-русской диглоссии (Хютль-Фольтер, 1978; Исаченко 1980; Успенский 1983). В рамках этой концепции для восточнославянской территории эпохи средневековья реконструируется социолингвистическая ситуация, аналогичная той, которую Ч. Фергусон (1959) постулировал для нескольких языковых коллективов нового времени (например, арабского мира). Эта ситуация предполагает сосуществование двух языков, находящихся в функциональном взаимодополнительном распределении. Сходное распределение приписывалось книжному и разговорному языкам восточных славян, так что дихотомия двух языков сохранялась, но менялись ее функциональные параметры. Б.А. Успенский определяет их следующим образом: «[В] языковом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки воспринимаются как один язык – книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык» (Успенский 1987, 15).

Что касается формальных примет, отличающих диглоссию от двуязычия, Успенский сводит их к всего трем признакам негативного характера: «1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации

разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием» (Успенский 1987, 17). Одновременно Успенский указывает и основное отличие, противопоставляющее ситуацию диглоссии той ситуации, в которой сосуществуют литературный язык и диалект. Это отличие состоит в том, что «при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как средством разговорного общения» (там же, 17–18). Как можно видеть, основным признаком книжного языка оказывается его противопоставленность языку разговорному, реализующаяся в его кодифицированности, нормированности и существовании специального обучения этому языку¹.

Противопоставленность разговорному языку представляет собой, однако, общую характеристику языкового стандарта, проявляющуюся отнюдь не только в ситуации диглоссии. Как показали работы последних десятилетий, посвященные специфике русской разговорной речи (Земская 1973; Лаптева 1976), в ней реализуется иной регистр русского языка, нежели в письменных литературных текстах. Это означает, что и в современной русской языковой ситуации, которая может быть определена как сочетание литературного языка и языка разговорного в его социальном и диалектном варьировании, литературный язык, как правило, не служит средством разговорного общения (что порой побуждает исследователей и эту ситуацию квалифицировать как диглоссию – Земская, Китайгородская, Ширяев 1981, 21–22). Правда, в современной ситуации устное употребление литературного языка возможно, а в ряде формальных ситуаций оно является даже нормативным (там же, 58–70). Однако правомерно ли апеллировать к этой частной (в определенной степени периферийной) сфере языковой деятельности, проводя различие между двумя языковыми ситуациями? Так ли велико различие? Не сводится ли оно к чисто социальному параметру – увеличению спектра культурно значимых ситуаций, требующих формальной речи? В конце концов в древней Руси в определенных случаях устное употребление церковнославянского не исключалось – например, при произнесении проповеди. Современное употребление литературного языка в публичных выступлениях (политическая речь, лекция и т.п.) мы можем рассматривать как экспансию того социального узуса, который в средние века был представлен церковным ораторством. Отсюда следует, что отличие, согласно Успенскому, состоит лишь в том, что в современных условиях возможно употребление литературного языка в бытовом общении, тогда как в древней Руси церковнославянский в этой функции употребляться не мог. Однако употребление литературного языка в бытовом общении представляет собой скорее отступление от социальных конвенций и трактовать подобное отступление как основу принципиального различия вряд ли оправдано. Особые отношения церковнославянского и восточнославянских диалектов устанавливаются только в том случае, если мы а priori утверждаем, что эти идиомы представляют собой два разных языка.

Такое утверждение, однако, отнюдь не является бесспорным. Как

известно, Н.С. Трубецкой и Н.Н. Дурново считали, что последним общеславянским изменением было падение редуцированных и до завершения этого процесса сохранялось общеславянское языковое единство. Если следовать этой концепции, до XII в. включительно восточнославянские говоры являются диалектами общеславянского языка. В таком случае и с внешней точки зрения, к которой апеллирует Успенский, церковнославянский и восточнославянские говоры до XII в. не представляют собой разных языков, а могут рассматриваться как книжный язык, основанный на одном из южнославянских диалектов, и диалекты другого ареала внутри единого общеславянского языка. Именно такого взгляда придерживается Г. Лант. Он утверждает, что «the dialects of Bulgaria and Rus' were obviously different but linguistically very close. The southern dialect features were no hindrance to easy communication, and some of the most striking ones were quite acceptable to the East Slavs for purposes of writing. Samenesses at every structural level – phonological, morphological, syntactic, lexical – overwhelmingly outnumber differences. *OSC and early Russian were variant forms of a single language.* To assume that they were two languages is anachronistic, for it projects later differences back into the eleventh century» (Лант 1988–89, 285–286. – *Курсив Ланта*).

Проблема, однако, отнюдь не в сходствах, которые перевешивают различия на любом из структурных уровней. Такое утверждение имеет смысл только для фонетики и морфологии. Здесь, действительно, можно дать перечень различий, что Лант и делает (Лант 1988–89, 302–304), и в этой части оригинальность точки зрения Ланта состоит лишь в оценке этих различий как минимальных: практически тот же самый список приводит Шахматов, говоря о признаках церковнославянизмов в современном русском литературном языке (Шахматов и Шевелов 1960), и Успенский, рассматривая отличия русского церковнославянского от старославянского, с одной стороны, и церковнославянского от «русского», – с другой (Успенский 1987, 84–143). Препятствуют ли эти различия коммуникации или не препятствуют, судить вряд ли возможно, поскольку совершенно неясным остается, о какой коммуникации идет речь. Южные славяне точно так же не говорили на церковнославянском (старославянском), как и славяне восточные, поэтому под коммуникацией, в которой использовались рассматриваемые идиомы, никак нельзя понимать устное общение (тем более устное бытовое общение). Речь может идти лишь о коммуникации письменной, о распространении письменных текстов, созданных в одном славянском регионе (например, у южных славян), за пределами этого ареала (например, у славян восточных). Эффективность (возможности понимания) такого рода коммуникации лишь в малой степени зависит от тех или иных особенностей фонетики и морфологии.

В самом деле, сосредоточивая внимание на формальных (фонетических и морфологических) различиях, исследователи по существу продолжают младограмматическую традицию и работают с теми

самыми сравнительно-историческими соответствиями, которые устанавливались для реконструкции праязыка. Понятно, что со сменой задач меняется и интерпретация этих соответствий, они в той или иной степени (разной в разных построениях) приобретают функциональный характер (ср.: Живов 1988), однако самый состав признаков в значительной мере сохраняется и получает никак не оправданную доминирующую роль в определении языковой ситуации.

Вместе с тем совершенно очевидно, что отнюдь не менее важные синтаксический и лексический уровни обнаруживают иной тип функциональных отношений. Например, такие синтаксические конструкции, как дательный самостоятельный, *accusativus cum infinitivo*, **яко** с инфинитивом в значении следствия, аналитические обороты с причастиями типа **Бѣ Иванъ крѣтъ** или **Градъ кѣтъ ѿстои** и т.п. отсутствуют в разговорном языке как южных, так и восточных славян, что, конечно, не противоречит сходству южнославянского и восточнославянского на синтаксическом уровне, отмечаемому Лантом, однако сдвигает проблему в иную плоскость. Такие конструкции являются специфичными для книжного языка вне зависимости от того, в каком славянском ареале он функционирует, и возможности понимания этого языка определяются восприятием подобных конструкций никак не в меньшей степени, чем, скажем, полногласием или неполногласием отдельной основы.

Точно так же обстоит дело и с лексикой. Понятность слов типа **единношъцьнѣ** или **бытнѣ** лишь в малой мере определяется тем, произносится ли в них /e/ или /je/, /o/ или /u/, /ʃi/ или /ʃɛ/. Абстрактная и религиозная лексика, чрезвычайно важная для лексического облика книжных текстов, ни к какому диалекту специально не привязана, однако имеет самое непосредственное отношение к восприятию книжного языка в любой из его разновидностей. Условия и параметры функционирования книжного языка не могут быть понятны без учета этих его фундаментальных характеристик. Усвоение, восприятие и воспроизведение соответствующих элементов являются важнейшими показателями его функционирования в языковом коллективе. Социальные параметры владения этими языковыми средствами, тематический (культурологический) диапазон их применения, членение пространства письменности по параметрам данного типа представляют едва ли не наиболее значимые аспекты языковой ситуации. Существующие же ее модели, кратко рассмотренные выше, эти аспекты в значительной степени игнорируют, и можно думать, что такое положение вещей связано в конечном счете с представлением о письменном языке как о явлении неорганическом и вторичном².

2. Усвоение книжного языка. Синтаксические параметры и стратегия книжного изложения

Выше уже говорилось о том, что, рассматривая книжный язык как вторичное искусственное образование, исследователи подчеркивают его кодифицированный и нормированный характер, отличающий его от языка разговорного. Принципиально различным оказывается и характер овладения книжным и разговорным языком. Б.А. Успенский, соотнося разговорный язык с первичной, «естественной» нормой, а книжный (литературный) язык с «вторичной» «искусственной» нормой, замечает: «[П]ервичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения [...] Напротив, вторичная норма усваивается в сознательном возрасте в процессе более или менее специального и искусственного (для литературного языка – формального) обучения» (Успенский 1987, 6). Такая точка зрения нуждается в существенных оговорках, касающихся как объема элементов, усваиваемых при формальном обучении, так и различия в механизмах усвоения «первичной» и «вторичной» нормы.

Как в свое время справедливо указал Д. Ворт (Ворт 1978, 375), вплоть до XVI в. у восточных славян отсутствовала кодификация церковнославянского языка. Никаких грамматик книжного языка не существовало, не было и словарей, если не считать, скажем, «Толкование неудобь познаваемом рѣчьемъ» (Ковтун 1963, 216 сл.), которое, однако же, никак не может интерпретироваться в качестве кодификации книжной лексики. Иногда говорится, правда, что кодификация церковнославянского в ранний период осуществлялась посредством текстов, однако само понятие кодификации становится в подобном случае мало что дающей метафорой, которая лишь затушевывает несхожесть книжных языков средневековья со стандартными (литературными) языками нового времени³.

С нормализацией дело обстоит иначе. Вне зависимости от того, насколько последовательно проводилась нормализация в тех или иных текстах (Д. Ворт, указывая на невыраженность нормы в ряде книжных текстов, подвергал сомнению само существование книжной нормы – Ворт 1978), она несомненно имела место. Об этом однозначно свидетельствуют многочисленные исправления в дошедших до нас рукописях: если рукопись правится, это значит, что писец заменяет неправильные с его точки зрения элементы на правильные, т.е. обладает представлением о норме и проводит эти представления в своей языковой практике. Лингвистические исправления являются постоянным элементом книжного дела в древней Руси, во многих случаях они осуществляются вполне последовательно, так что нормализация – это обычный, а не исключительный феномен языковой установки восточнославянских книжников⁴. Нормализаторские интенции книжников можно наблюдать в рукописях разного типа, в частности при сопоставлении ряда летописных списков, например, Новгородской первой летописи старшего извода по Синодальному списку и Комиссионного

списка той же летописи младшего извода или Лаврентьевской летописи в сопоставлении с Академическим списком.

Существенно, однако, и то, на какие уровни распространяется нормализация этого рода. Исправления, встречающиеся в рукописях, затрагивают по преимуществу фонетику (поскольку она отражается в правописании) и морфологию, т.е. имеют орфографический характер. На этих уровнях нормализация может быть достаточно систематической. Исправления лексические и синтаксические, напротив, практически всегда окказиональны. Конечно, они не лишены направленности, и при статистическом анализе можно обнаружить определенные закономерности в динамике узуса. Так, скажем, при рассмотрении более ранних и более поздних списков летописей, заметно, как беспредложный дательный при глаголах движения в инклюзивном значении постепенно замещался конструкциями с предлогом *къ* + дат. падеж; пропорция предложных конструкций нарастает от более ранних частей летописи к более поздним, от списков XIV в. к спискам XV в. Тем не менее последовательно эти замены не проводятся, так что, например, в Ипатьевской летописи обнаруживается ряд случаев предложных конструкций, которым в Лаврентьевской соответствует беспредложная, наряду с этим, однако, имеются и случаи, когда беспредложным конструкциям Ипатьевской летописи соответствуют предложные конструкции в Лаврентьевской (Пичхадзе 1996). Ясно, что ни в текстологической истории Лаврентьевской, ни в текстологической истории Ипатьевской сплошной замены соответствующей конструкции не наблюдалось, т.е. замены всегда имели окказиональный характер и лишь с течением времени давали кумулятивный эффект.

Сходным образом обстоит дело и с заменами лексическими. В недавнее время А.М. Молдованом была предпринята попытка дать типологию лексических замен в восточнославянских памятниках. Он выделил шесть типов таких замен: (1) слово, которое начинает восприниматься как не книжное, заменяется на «литературный» эквивалент; (2) старославянские архаизмы вытесняются словами, находящимися в актуальном книжном употреблении; (3) регионализмы заменяются словами общеупотребительными, (4) экспрессивная лексика уступает место нейтральной; (5) транслитерированное греческое слово заменяется его славянским эквивалентом; (6) слова, обозначающие конкретный предмет, заменяются обозначением класса предметов (Молдован 1994, 73–74). Подобные замены очевидно не могут быть последовательными и обладать нормативным статусом. Они осуществляются от случая к случаю, и их типология отражает не сознательную стратегию книжников, а обобщение индивидуальных казусов. Интенции писцов достаточно расплывчаты и основаны не на системе однозначных запретов, а на представлении об уместности, вынесенном из их читательского опыта. Как замечает Г. Лант, «[scribal changes tell us only that the copyist felt something was inappropriate – unknown, obscure, archaic, regional, stylistically unsuitable» (Лант 1996, 19)⁵.

Отсутствие нормализации на синтаксическом и лексическом

уровнях показательно. Оно означает, что при обучении книжному языку эти уровни никак эксплицитно не затрагивались, и это задает существенные ограничения объема формального обучения в древней Руси. Такие ограничения хорошо согласуются с тем немногим, что мы знаем о характере образования у восточных славян в XI–XVI вв. Основой овладения книжным языком было чтение по складам и последующее заучивание наизусть Часослова и Псалтыри (см. подробнее: Живов 1996, 21–23). Правдоподобно, что профессиональные писцы получали еще и дополнительную выучку, однако она ограничивалась не слишком пространством набором орфографических правил, регулировавших книжное правописание, но не задававших никаких норм употребления форм, конструкций или лексических единиц (Живов, 1996, 28–29). В этом плане лингвистическое образование в древней Руси отличалось от тех процедур овладения классическими языками, которые практиковались в Византии и латинской Европе и предполагали изучение грамматики и анализ текстов образцовых авторов.

Тем в большей степени заслуживает внимания тот факт, что восточнославянские книжники владели книжным языком, т.е. могли создавать новые тексты, не отличавшиеся радикально ни по своим синтаксическим построениям, ни по своему словарю от южнославянских образцов (имею в виду, например, Слово о законе и благодати митрополита Иллариона или гомилетические произведения Кирилла Туровского). Это означает, что навыками книжного изложения восточнославянские авторы овладевали не в процессе «формального обучения», но исключительно в процессе чтения. Нет никаких оснований считать этот процесс искусственным, радикально отличающимся по своим лингвистическим механизмам от процесса овладения разговорным языком. Вместе с тем следует отдавать себе отчет, до какой степени те навыки, которые осваивались в данном процессе, отличались от навыков разговорного языка. Порождение книжной речи представляется иным типом языкового поведения сравнительно с порождением речи разговорной, и если здесь явно неправомерно говорить о двух разных языках, то по крайней мере разные регистры одного языка постулировать в данном случае необходимо.

Понятно, что все рассуждения об отличиях письменного языка древней Руси от разговорного имеют гипотетический характер, поскольку никакими прямыми сведениями о разговорном языке мы не располагаем и можем лишь реконструировать его характеристики исходя из все тех же письменных текстов. Тем не менее можно полагать, что синтаксическая организация книжных текстов принципиально отличалась от синтаксического построения разговорной речи. В древних некнижных текстах обнаруживается ряд конструкций, не находящих соответствия в книжном синтаксисе, но зато хорошо известных из синтаксиса современной разговорной речи. Само собой разумеется, что древние некнижные тексты представляют собой образцы письменного, а не устного языка, и не могут не обладать особенностями письменного текста, однако схождения с современной разговорной речью побуждают думать, что отдельные синтаксические

конструкции этих текстов представляют собой элементы устного синтаксиса.

К таким конструкциям относится, например, именная тема, когда тема (предмет) высказывания обозначается существительным в номинативе, ставящимся в начале предложения. Такие конструкции отсутствуют в древнерусских книжных текстах, но могут быть найдены в берестяных грамотах, ср. № 600, рубежа XII–XIII вв.: «а вытоле (N.) того изловили» («а бродяга, того поймали» – Зализняк 1995, 385); № 550, вторая пол. XII в.: «а дороганици (дороганичи, жители местности Дороганя, N.) ти шан въ городо» («а дороганичи, они ушли [или пошли] в город» – Зализняк 1995, 341). В разговорном синтаксисе современного языка известен именная перечисления, когда при перечислении предметов первые названия стоят в нужном косвенном падеже, а последующие в именительном. И здесь находятся аналоги в берестяных грамотах при отсутствии их в книжной письменности, ср. № 169, рубеж XIV/XV в.: «Онгане послале овдокиму два клеца (Ac.) да щука (N.)» («Антон послал Евдокиму двух лещей и щуку»). Аналогичный пример в грамоте № 445 XIV в.: «всамо горончаро · ѿ · сорока · кунцию · кобылу ꙗ · кожи · шапка · сани хомуты» («Взял гончар два сорока кунци, три кожи, шапку, сани, хомуты» – Зализняк 1995, 468); форма *шапка* несомненно представляет собой именная перечисления (Зализняк 1995, 138–139). Можно полагать, что синтаксические построения разговорного языка, иногда рассматриваемые как инновации, могут быть достаточно архаичными, так что специфические особенности разговорного синтаксиса устойчиво в течение многих столетий определяют отличия языкового стандарта (при всех его изменениях) от разговорного регистра русского языка.

Описанные явления характеристичны и указывают на фундаментальные несходства разговорного синтаксиса, ориентированного на ситуационное упорядочение информации (в частности, актуальное членение), и синтаксиса книжного, ориентированного на логическое развертывание. Тем не менее они представляют собой частности. Ситуационное упорядочение можно рассматривать как общий принцип организации не книжных текстов, и это проявляется прежде всего в постоянном нарушении проективности, т.е. того свойства, которое возникает как естественное следствие логического развертывания (о данном аспекте современного русского разговорного синтаксиса см.: Земская 1973, 383–393). Ряд примеров нарушения проективности из новгородских берестяных грамот приводит А.А. Зализняк (1995, 171). Он указывает, что особенно часто это имеет место в словосочетаниях вида «существительное + определение или приложение к нему». Ср. № 607/562 XI в.: «Жизнобоуде погоуване оу бычевиць новъгородьске смьрде» («Сычевичами убит Жизнобуд, новгородский смерд» – Зализняк 1995, 288); № 78 XII в.: «въземи оу Тнмоще одноу на десатѣ грив[ь]ноу оу Ънцина шоурна» («возьми у Тимошки, Войчина

шурина, процент одну гривну на десять» – Зализняк 1995, 306–307); № 663 XII в.: «милкоє, Уенегє, вѣдиша заплатили поло гривене Коростокине рала» («Милко, Уенег и Будиша, Коросткины [дети], заплатили полгривны поралья» – Зализняк 1995, 334–335) и т.д.

Зализняк формулирует тот принцип синтаксического построения текста, ради которого нарушается проективность – в начале главная часть сообщения, затем уточнения. «В соответствии с этим принципом прежде всего объявляется суть дела (без деталей), а все уточняющие слова образуют вторую, дополнительную часть высказывания, которая фактически представляет собой цепочку синтаксически не связанных между собою слов или синтагм... Заметим, что подобное построение не предполагает обособления отнесенных в конец слов и никаких пауз перед ними нет» (Зализняк 1995, 172). И этот принцип соответствует тому, что отмечается исследователями современной разговорной речи, ср. наблюдения Е.А. Земской: «[Ч]лен (или члены), наиболее информативно важный, [...] тяготеет к началу высказывания. [...] В конце высказывания, как правило, располагаются члены, информативно менее важные, например, невыделенная тема высказывания» (Земская 1973, 382).

Таким образом, лингвистическая стратегия книжного текста, соответствующая принципу логического развертывания, радикально отличается от лингвистической стратегии разговорной речи, равно как в определенной степени и от лингвистической стратегии некнижных текстов, в ряде случаев воспроизводящих синтаксические построения разговорной речи. Стратегиям книжного изложения никто и никогда восточнославянских книжников не учил, ни наставников, ни письменных руководств у них не было, так что соответствующие навыки, принципиально отличные от «естественных» навыков разговорной речи, они приобретали путем простого подражания, подражания тому книжному языковому узусу, который был им известен из прочитанных ими текстов. Это, по существу, тот же путь освоения языка, который прodelывает ребенок, осваивая речь своего социума, только вместо речи старшего поколения в данном случае выступает корпус прочитанных и освоенных текстов. Нет, следовательно, никаких оснований рассматривать письменные (книжные) регистры языка как специально искусственные, неорганические или лишенные системной упорядоченности.

3. Преимущество и лингвистические характеристики книжного и некнижного языков

Как мы видели, в бытовых некнижных текстах (представленных берестяными грамотами) встречаются такие синтаксические построения, которые в книжных текстах отсутствуют. Появление подобных построений можно связывать с влиянием разговорной речи. Это, однако, лишь частичное объяснение, отсылающее по существу к начальному происхождению этих элементов, а не к их функциони-

рованию в рамках письменного узуса. Если книжный письменный узус осваивается, как говорилось выше, в процессе чтения книжных текстов, то следует думать, что и некнижный письменный узус обладает своей преемственностью. Ситуационный синтаксис реализуется в некнижных текстах не столько в силу того, что он свойствен разговорной речи, сколько в силу того, что он присущ некнижной письменности, известной автору данной берестяной грамоты. Ряду носителей был явно известен и книжный, и некнижный письменный узус, и выбор линии преемственности, которой они будут следовать в определенном речевом акте (акте создания письменного текста), зависел очевидно от типа создаваемого текста. Этот выбор мотивировался, следовательно, риторической (культурологической) установкой пишущего.

Здесь возникает проблема того, из какого набора возможностей выбирал пишущий. Основным было, конечно, различие между книжным и некнижным языком (книжными и некнижными регистрами). Оно непосредственно определялось культурологической установкой пишущего, и эта установка обуславливала выбор лингвистической стратегии: логического развертывания или ситуационного построения текста. Установка задавалась прежде всего прагматическими параметрами текста. Если текст был обращен к социуму в целом и имел целью его назидание или вообще религиозное совершенствование любого рода, императивным оказывалось следование книжной (церковнославянской) традиции, что и определяло лингвистическую стратегию; если, напротив, текст был обращен к конкретному адресату и содержал частную информацию или информацию, касающуюся юридических обязательств или юридического статуса тех или иных лиц, преемственности по отношению к книжной традиции не требовалось, и изложение оказывалось некнижным⁶.

Понятно, что лингвистическая стратегия реализовалась прежде всего в синтаксисе. Это соответствует доминирующей роли синтаксиса в определении типа языка (ср.: Хютль-Ворт 1978): сначала определяется общая форма изложения, подразумевающая основные синтаксические характеристики, затем с нею в той или иной степени согласуются признаки других уровней. Уровень лексический при этом малопоказателен, поскольку он слишком тесно связан с содержанием текста, так что выбор здесь обусловлен в большей степени тематикой, нежели лингвистической стратегией⁷. Что же касается фонетики (орфографии) и морфологии, то жесткой соотнесенности с выбором лингвистической стратегии здесь не устанавливается. Некоторая соотнесенность безусловно имеет место. Так, например, бытовая система письма, характерная для новгородских берестяных грамот (см.: Зализняк 1986, 93–109), обычна лишь для некнижных текстов, а для записи книжных текстов может употребляться только в исключительных случаях⁸. Ряд орфографических приемов встречается, напротив, только в книжной письменности, а в некнижных текстах появляется лишь как редчайшее исключение; так обстоит дело, например, с обозначением палатальных сонорных: они достаточно часто обозначаются в книжных памятниках XI–XIII вв. (Живов 1996а),

тогда как из не книжных текстов единственным примером является Мстиславова грамота, которую в этом отношении следует, видимо, рассматривать как аномалию. Такого же рода противопоставления можно найти и в морфологии. Например, хорошо представленное в новгородских берестяных грамотах окончание им. ед. о-склонения *-e* (Зализняк 1986, 127–134; Вермеер 1994), в новгородских книжных текстах появляется в считанных случаях (можно указать здесь на Вопросание Кирика по списку Новгородской Кормчей 1280-х годов – Гиппиус 1996, 51–53). Сходным образом, формы имперфекта, без которых невозможно представить себе книжную письменность, практически не встречаются в не книжной (о нескольких исключениях см.: Зализняк 1995, 123–124).

Такого рода формальные признаки побуждают говорить о бинарном противопоставлении книжного и не книжного языков, и именно так трактует их ряд исследователей (ср.: Исаченко 1980, 80–98; Успенский 1987, 129–170). Пока речь идет об общем противопоставлении языковых кодов (или, иначе, типов языкового употребления, связанных с культурной установкой пишущего), подобная интерпретация особых возражений не вызывает. Проблемы возникают тогда, когда это бинарное членение проводится через все множество вариативных языковых средств и каждый из вариантов наделяется значимостью индикатора языкового кода. При таком подходе имплицитно продолжает действовать модель двух языковых систем, в каждой из которых все элементы связаны и однородны по своим системным качествам. Исследователи, естественно, отдают себе отчет в том, что у этих двух систем большая часть языкового материала является общей, однако элементы, которые могут быть соотнесены лишь с одной из систем, представляются двумя равномерно противопоставленными множествами. Скажем, имперфект, *ц* на месте **tj* и флексия *-ъна* в род ед. прилагательных ж. рода оказываются составляющими одного «книжного» множества и в силу этого одинаковым образом противопоставляются составляющим противоположного «не книжного» множества – *л*-форме, *ч* на месте **tj* и флексии *-оѣ*. Когда в книжном тексте оказываются элементы из «не книжного» множества, они рассматриваются как чужеродные вкрапления и именуются русизмами; когда в не книжном тексте появляются элементы из «книжного» множества, они также рассматриваются как чужеродные вкрапления и именуются славянизмами. Именно в этих терминах традиционно описывается история языка восточнославянской письменности.

Если обратиться к тому, как в действительности создавались тексты – имею в виду характер образованности, способы приобретения навыков письма, социальные слои, пользовавшиеся письменностью, – подобная картина не кажется вполне реалистической. Она предполагает, во-первых, что у пишущего было ясное представление о двух противопоставленных системах и о совокупности черт, характерной для каждой из них. Это могло бы быть возможно лишь в том случае, если бы эти системы были кодифицированы и книжный язык изучался

«по грамматике». Поскольку же опыт книжного языка образовался из чтения текстов, носитель языка мог руководствоваться только своими впечатлениями о том, что где встречается. Понятно, что такие впечатления не формировали бинарной классификации. Одни элементы оказывались более привычными, другие менее привычными, одни – более книжными, другие – менее книжными⁹. Создавался своего рода стилистический континуум, причем, видимо, место в нем некоторых элементов могло быть разным у разных носителей; впрочем, в силу того что основной корпус книжных текстов (Псалтырь, Евангелие, Апостол, богослужебные тексты) имел общезначимый характер, такие различия носили частный характер.

Во-вторых, описанная выше картина предполагает, что основной и постоянной заботой носителя было соблюдение границы между книжным и некнижным языком. Стремление к подобной чистоте языка действительно могло иметь место, когда речь шла об основных сакральных текстах. Однако трудно представить себе мотивы, которые с такой же настоятельностью требовали бы от пишущего остерегаться некнижных элементов в тексте, предназначенном для внебогослужебного назидания (как, например, патерики или Поучение Владимира Мономаха) или – тем более – избегать книжных элементов в бытовом письме. Естественно думать, что более важной для пишущего была задача изложить нужную информацию, по возможности сохраняя тот характер изложения, который он находил в уже существующих текстах. Такая задача диктовала выбор книжного или некнижного языка, но в рамках этого выбора оставляла значительную свободу в подыскивании подходящих языковых средств.

Следует иметь в виду, что средневековые восточнославянские книжники при создании новых текстов стремились как можно ближе следовать известным им образцам, причем не только в литературном, но и в собственно лингвистическом отношении. Их языковое поведение существенно отличалось от привычного для современного автора в силу, в частности, того, что они исходили из обширного корпуса текстов, выученных ими наизусть (этот корпус включал как минимум Часослов и Псалтырь). Множество общих мест, из комбинаций которых и состояли нередко оригинальные книжные сочинения (если не полностью, то по крайней мере в значительной своей части¹⁰), были закреплены в устойчивых языковых трафаретах, так что лингвистический механизм ориентации на образцы можно рассматривать как важнейшую характеристику порождения книжных текстов (см. подробнее: Живов 1996, 23–26). Тем не менее, не все укладывалось в общие места, и там, где языковые стереотипы не работали или где они требовали существенной адаптации, пишущему приходилось подыскивать нужные средства выражения. О том, насколько сильно мог отличаться по своим языковым параметрам текст, построенный на стереотипах, от текста, написанного без опоры на образцы, красноречиво свидетельствуют две части Поучения Владимира Мономаха: в первой, содержащей традиционное христианское назидание, язык также достаточно традиционен, во второй, по-

вествующей об охотничьих трудах князя, общие места на помощь автору не приходят, и язык существенно отстывает от книжного стандарта. Видимо, нечто подобное может происходить и в некнижной письменности, когда предмет сообщения не укладывается в рамки обычной бытовой или деловой тематики¹¹.

Таким образом, нестандартные коммуникативные задачи обуславливают интерференцию книжных и некнижных языковых средств, в одних случаях более, в других – менее сильную. Эта интерференция может затрагивать даже наиболее очевидные признаки, противопоставляющие книжный и некнижный языки (ср. упоминавшиеся выше формы имперфекта в берестяных грамотах или им.ед. на *-e* в Вопросании Кирика); в случае менее выраженных признаков интерференция этого рода может быть и более обычным и менее заметным явлением. Исследователи, привязанные к идее бинарного противопоставления языков, склонны рассматривать случаи подобной интерференции как периферийные, оставляя без достаточного внимания соответствующие тексты или части текстов. Проблема, однако, в том, насколько подобные тексты были периферийными не для исследователей, а для современного им социума.

Нестандартность коммуникативных задач и связанные с нею лингвистические особенности текстов относятся лишь к происхождению подобных произведений, а не к их статусу в корпусе восточнославянской книжности. Будучи созданы, они получают в этом корпусе свое место и входят в круг чтения последующих поколений книжников. Статус таких сочинений может быть различен. Ясно, что они никогда не приобретают той нормоустанавливающей роли, которая в книжной письменности принадлежит текстам основного корпуса (Св. Писания и богослужения). Существование отдельных текстов носит как бы виртуальный характер: списки немногочисленны или практически отсутствуют (например, в случае Слова о полку Игореве), так что параметры их рецепции остаются неясными. В других случаях, однако, такие тексты создают собственную традицию, т.е. они читаются, переписываются и, соответственно, могут служить образцом для носителей, реализующих сходное коммуникативное задание. Нечто подобное может происходить, видимо, и в некнижной письменности, хотя здесь история типов текстов в интересующем нас ракурсе изучена достаточно плохо, так что в лингвистическом плане об истории возникновения новых типов (например, духовных грамот) приходится говорить с большой осторожностью. Понятию, что развитие здесь обладает собственной спецификой, делающей его непохожим на историю книжных текстов: в сфере некнижных текстов отсутствует единый нормополагающий центр в виде основного корпуса текстов. Вообще говоря, это должно лишь способствовать формированию частных традиций, имеющих дело с отдельными типами текстов.

Если в истоках формирования подобных традиций может лежать отклонение от стандарта, то в их развитии оно выступает в качестве прецедента, легализующего эти отклонения и образующего отдельный, частный стандарт. Как, в каком количестве и в какое время офор-

мляются эти традиции, требует особого исследования, и в настоящей работе мы вынуждены ограничиться лишь самыми общими его контурами. Понятно, что подобные традиции возникают в силу того, что – как и вообще в письменном языке – опыт чтения формирует навыки письма. Относительная обособленность традиции предполагает расчлененность круга чтения, – расчлененность культурологическую и расчлененность социальную.

Под культурологической расчлененностью я подразумеваю самый факт осознания отдельной линии преемственности как относительно автономной традиции. Для современных стандартных языков такая расчлененность представляется сама собою разумеющейся: имею в виду то, что иногда описывается понятием функциональных стилей. Автор газетной статьи ориентируется на языковые традиции газетной публицистики, а не, скажем, на традиции научных трудов или беллетристики. Он явным образом осознает лингвистическую автономность данного типа текстов, и эта автономность до определенной степени институализована: существуют школы журналистики, в которых соответствующему узусу обучают, редакторы, которые устраняют наиболее явные отступления от сложившейся традиции, и т.д. В средние века ситуация явно была иной. Вопрос лишь в том, насколько иной – не имеющей никакого сходства или все же реализующей подобные же принципы, но лишь с иными составляющими – *mutatis mutandis*.

Под социальной расчлененностью я подразумеваю расчлененность круга пишущих и читающих, когда ряд текстов создается внутри определенной социальной группы и удовлетворяет потребности определенной социальной группы. Если вновь обратиться к современной культурно-языковой ситуации, такая расчлененность представляется естественной. Скажем, канцелярская продукция создается чиновниками, читается чиновниками и может быть не вполне понятна (в том числе и на лингвистическом уровне) для постороннего человека. Аналогичным образом обстоит дело и с продукцией научной: для внешнего потребления она нуждается в переводе, что и осуществляется так называемой научно-популярной литературой. И в этом случае сопоставимость современной ситуации со средневековой заслуживает специального внимания.

4. Формирование регистров письменного языка

В начальный период формирования восточнославянской письменности культурологическая расчлененность сводилась, видимо, исключительно к противопоставлению книжных и некнижных текстов, образующих, как уже говорилось, две достаточно противопоставленных традиции, соотносившихся с различными культурными (религиозными) ценностями. Социальная расчлененность скорее всего вообще отсутствовала. Первоначально грамотность (как и само христианство) была достоянием социальной элиты: крестив Русь, Владимир «нача помати оу нарочитое чади дѣти и дашти на оученье книжное» (ПСРЛ, I, стб. 118–119); грамотность, естественно, получает распространение и

среди духовенства. В XI–XII вв. эти социальные группы равно (хотя, возможно, и в неравной степени) интегрированы и в религиозную, и в социально-экономическую жизнь, так что в их читательском опыте присутствуют и книжные и некнижные тексты, и при случае они могут создавать тексты обоих типов. Исследуя социальные параметры грамотности в этот период и основываясь на материале берестяных грамот, С. Франклин приходит к выводу, что «in the eleventh and twelfth centuries the literate milieu of the birch-bark letters was that of the relatively rich, of the upper strata of society. In the subsequent centuries this literacy spread much wider, into the lower levels of urban society and out to the countryside» (Франклин 1985, 15). Видимо, это утверждение нуждается в определенных оговорках, поскольку широко распространенные надписи на пряслицах и некоторые граффити создают впечатление, что процесс распространения грамотности за пределы социальной элиты мог начаться и раньше. Однако о социальной расчлененности (в указанном выше смысле) пишущих и читающих речь в этот период еще не идет.

Отсутствуют, видимо, в этот период и институциональные формы расчленения пространства письменности. Мы располагаем лишь минимальными данными о характере обучения в древней Руси, однако то немногое, что мы знаем, свидетельствует скорее о том, что никакого отдельного обучения кириллической и некнижной грамотности не было. В Новгороде в начале XIII в. (как, надо думать, и до и после этого) при обучении грамоте употреблялась Псалтырь, на что указывают грамоты мальчика Онфима. Несколько фрагментов из следованной Псалтыри читаются, как установил Н.А. Мещерский (Мещерский 1962, 108; 1995, 139–140; ср.: Зализняк 1995, 387), в грамоте № 207. Как недавно показал А.А. Зализняк (устное сообщение), Онфиму же принадлежит и грамота № 331, которая также содержит фразы из Псалтыри. Таким образом, обучение чтению и письму предусматривало овладение книжной традицией. В то же время недавно найденная надпись на cere 20-х–50-х годов XII в. содержит текст явно некнижный: «а азъ тиоунѣ / данѣ жѣ оумлѣ» («А я, тиун, дань(-то) взял» – Зализняк 1995, 287). Как отмечает Зализняк, «по-видимому, мы имеем дело просто с упражнением в письме» (там же). Следовательно, некнижная традиция также находила свое отражение в образовательном процессе¹², и при этом нет никаких оснований думать, что Онфим и автор надписи на cere обучались различным образом. Одно и то же лицо могло работать и в сфере книжной, и в сфере некнижной письменности, как это устанавливается для пономаря Тимофея, ведшего в середине XIII в. новгородскую летопись, а вместе с тем переписывавшего богослужебные книги и написавшего три договора Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем 1264 г. (см. о нем: Гиппиус 1992). Специализация, надо думать, относится к более позднему времени.

С распространением и развитием письменности происходит и дифференциация регистров письменного языка, причем этот процесс

имеет место и в книжной, и в некнижной письменности. В книжной письменности это приводит к формированию в качестве относительно автономной системы гибридного языка, существовавшего наряду со стандартным книжным языком (см.: Живов 1988, 54–63). Кардинальное значение в этом процессе имеет летописание. Именно при создании летописей с неизбежностью возникали нестандартные коммуникативные задачи, обуславливавшие, как говорилось выше, интерференцию книжных и некнижных языковых средств. Такие задачи были естественным следствием обращения к местному материалу и отсутствия на начальном этапе стереотипных способов его изложения. Конечно, восточнославянским книжникам были известны византийские хроники в славянском переводе (Амартол и Малала), однако они не служили непосредственным образцом для восточнославянского летописания (Манго 1988–89). Достаточно отметить, что известным у славян византийским хроникам не свойствен анналистический порядок представления материала, изначально присутствовавший в восточнославянских летописях и наиболее отчетливо выразившийся – именно как принцип – в обозначении пустых годов (Сухомлинов 1908, 35–37). Естественно думать, что образцом для восточнославянского летописания послужила западноевропейская хронография (см.: Гиппиус 1997а), однако никаких ранних славянских переводов западных хроник нам неизвестно, так что лингвистических образцов из них почерпнуть было нельзя¹³.

Интерференция книжных и некнижных языковых навыков происходила в летописании с самого начала. Нам трудно судить, насколько эта интерференция затрагивала орфографию, поскольку дошедшие до нас списки относятся к сравнительно позднему времени, а именно в области орфографии исправления могли носить наиболее систематический характер. Результаты интерференции в морфологии и лексике исследовались неоднократно, так что не возникает сомнения, что они были присущи не только летописанию времени дошедших до нас списков, но и прототексту основных летописных памятников. Интерференция имеет здесь настолько выраженный характер, что исследователями несколько раз предпринималась попытка расчленить летопись на фрагменты, написанные по-русски и по-церковнославянски, соотнеся выбор языка с характером повествования, его сюжетом или отношением пишущего к описываемым событиям (Виноградов 1958, 61–65; Улуханов 1964, 130 сл.; Успенский 1983, 45–46; Хютль-Фольтер 1983). Эти попытки, на наш взгляд, были заранее обречены на неудачу, поскольку клали в основу неправдоподобную модель языкового поведения летописца – стремление классифицировать излагаемый в рамках единого текста материал по стилистическим или риторическим рубрикам и обозначить эту классификацию посредством смены языков. В таком сложном объяснении нет никакой необходимости. Летопись писалась на книжном языке с начала и до конца, и это соответствовало тому распределению сфер функционирования книжного и некнижного языков, о котором говорилось выше: летопись была обращена к социуму в целом и ставила целью его назидание (ср. о религиозной значимости летописей:

Еремин 1966, 64–71). Однако равномерно выдерживать стандарты книжного языка летописец не мог, поскольку ориентация на образцы в разной степени могла быть использована в разных сегментах текста. В силу этого разные сегменты характеризуются разной степенью интерференции, хотя сам по себе феномен свойственен любому фрагменту.

Менее всего интерференция затрагивает синтаксис, поскольку стратегия книжного изложения предопределяет следование синтаксису логического развертывания, определенным образом оформляющему не только речь, но и мысль летописца. Отдельные отступления, однако, возможны и здесь – видимо, в силу того, что книжное расположение не всегда соответствует представлениям автора о соотносительной важности упоминаемых предметов и персонажей и привычные способы ранжирования информации берут верх над навыками риторического размещения языковых элементов. В этих случаях появляется дистантное расположение членов словосочетания, при котором – как это характерно для не книжных текстов (см. выше) – дополнительная информация относится в конец предложения. А.А. Зализняк (1995, 171) приводит ряд подобных примеров из Новгородской первой летописи: *Володимир иде на Юмь съ новгородьци съѣ* *Прославль* (s.a. 1042); *а съѣ посади Новѣгородѣ Всѣволода на столѣ* (s.a. 1117); *въ тожѣ лѣтѣ постави Твърдислаѣ црковъ на воротѣхъ въ Оркажи манастыри Михалковиць ст²о Съмена Стълника* (s.a. 1206), отмечая, что их можно умножить. Редкие примеры могут быть обнаружены и в Повести временных лет, которая, вообще говоря, характеризуется более книжным (в большей степени использующим гипотаксис) синтаксисом, чем Новгородская первая. Так, в рассказе о заключении договора Игоря с греками под 945 г. говорится: «а *хѣаню Русь водиша ротѣ* • в цркви стго Ильи • *аже есть надъ ручаемъ* • *конецъ Пасынчѣ вѣсѣды* • и *Козарѣ* • *се во вѣ сворнаи* • *црки* • *мнози во вѣша Варазн хѣѣани*» (ПСРЛ, I, стб. 54). Последовательность «и *Козарѣ*», вызывающая трудности при интерпретации, может, видимо, рассматриваться как однородное дополиение с *хѣаню Русь* при глаголе *водиша*, вынесенное в конец фразы как поясняющая деталь¹⁴.

Летописи не только потенциально могли быть образцом для письменного узуса последующих поколений (как мы предполагали выше для любых письменных текстов вообще), но и с несомненностью были таким образцом. Продолжатели летописей идут по стопам своих предшественников, они пользуются теми же схемами изложения, риторическими фигурами, отдельными выражениями и оборотами, наборами библейских цитат и т.д. Можно указать на случаи прямого подражания, распространяющегося и на риторiku, и на стиль изложения, и на отдельные собственно языковые параметры. Такое подражание имеет место, например, в части Новгородской первой летописи, написанной пономарем Тимофеем: образцом для него служат Начальный свод

(Гиппиус 1997, 9–10); многочисленные случаи прямого подражания, воспроизведения схем и моделей описания могут быть приведены и из позднейшего летописания. Для определенных сюжетов (таких, например, как стихийные бедствия) вырабатываются стереотипы описания, воспроизводящиеся с минимальными вариациями в течение столетий. Естественно, что в этих условиях воспроизводятся и характерные черты языка. Это означает, что интерференция, о которой мы говорили выше, оказывается не столько живым процессом, происходящим при порождении конкретного летописного текста, сколько конститутивной чертой анналистических памятников как типа текстов. Этот тип обладает собственным набором образцов, и письменные навыки, реализуемые в летописных памятниках, вырабатываются при овладении (путем чтения) этими образцами. Таким образом пространство книжных текстов приобретает расчлененность, язык летописей – относительную автономию, а гибридный регистр – собственную традицию.

Понятно, что мы имеем здесь дело не с одномоментным, а с постепенным процессом. Постепенность этого процесса исключает точную датировку и делает вообще всякую датировку достаточно условной. Одним из важных моментов этого процесса является экспансия гибридного регистра на неанналистические тексты. К таким текстам относятся прежде всего жития. Основой сближения было, возможно, то формальное обстоятельство, что и летопись, и житие представляли собой повествовательные тексты, хотя играли, видимо, роль и соображения содержательного порядка (из летописи можно было почерпнуть материал для жития, а из жития – для летописи). Случаи такого взаимодействия достаточно хорошо известны (ср.: Ключевский 1871), и такое содержательное сближение создает достаточную почву и для лингвистической преемственности. Конечно, отнюдь не все жития пишутся на гибридном языке, язык ранней восточнославянской агнографии не всегда поддается однозначной классификации, но по крайней мере с XV в. можно указать на жития, несомненно относящиеся к гибридной письменной традиции, например, житие Михаила Клопского в первоначальной редакции. Жития продолжают писаться на гибридной разновидности и в XVII в. (а если брать старообрядческую литературу, то и позднее), и именно в эту традицию вписывается, например, Житие протопопа Аввакума. Поскольку, однако, жития в большей степени, чем летописи, ассоциируются с основным корпусом текстов, более сильный импульс получает и традиция употребления в агнографии стандартной разновидности.

Формальное тождество риторической стратегии обуславливает распространение гибридной разновидности и в прочих повествовательных текстах, например, в так называемых воинских повестях или исторических сочинениях о Смутном времени. Переводы повествовательной литературы в XVI–XVII вв. используют чаще всего ту же гибридную разновидность. Особенно широкое применение она получает в XVII в., когда возникает оппозиция светской и духовной литературы. Большая часть светской литературы (прежде всего повести и романы)

пишется и переводится на гибридный язык. Гибридный язык вообще, видимо, укореняется в переводческой практике, если речь не идет об ученой духовной литературе, так что он используется и в переводах неповествовательных текстов, таких как физиогномики, географические трактаты и т.д. Таким образом, относительная автономность данной разновидности проявляется и в том, что постоянно расширяется сфера ее функционирования, т.е. она выступает как принятое средство выражения для текстов с нетрадиционным содержанием. К концу XVII в. эта автономность осознается настолько ясно, что данная разновидность может переосмысляться как особый «простой» язык, на который переводятся тексты, существовавшие прежде лишь на стандартном церковнославянском (имею в виду Псалтырь в переводе Авраамия Фирсова 1683 г. – см.: Целунова 1989). Именно с этим широким функционированием гибридного языка, окончательно оформившегося как особый регистр, связано его определяющее влияние на формирование русского литературного языка нового типа¹⁵.

Итак, в книжной письменности происходит формирование автономного гибридного регистра. Расчлняется и пространство не книжной письменности. И данный процесс не привлекал достаточного внимания исследователей. Речь идет о формировании особого делового языка, выделяющегося из общей совокупности не книжной письменности своей нормированностью. Для раннего периода постановка этого вопроса связана прежде всего с новгородскими данными, достаточно разнообразными, чтобы по крайней мере обсуждать проблемы социолингвистического характера. Реконструкция древненовгородского диалекта, осуществленная А.А. Зализняком в основном на материале берестяных грамот, отчетливо показала, что в Новгороде документы, имевшие официальный статус (например, договорные грамоты), писались на языке, отличном от того, который употреблялся в текстах бытового характера (например, частной переписке). В текстах первого типа оказывались в существенной степени устранены специфически новгородские диалектные черты в орфографии и морфологии, что предполагает определенную нормализацию языка, обусловленную официальным статусом текста. Употребление этого нормализованного идиома может рассматриваться как вполне сознательное и культурологически значимое, поскольку, в частности, существуют тексты, написанные одним лицом, в которых разный статус частей обуславливает переход от одного идиома к другому. К таким текстам относится, согласно Зализняку, вкладная Варлаама Хутынского рубежа XII в. (Зализняк 1995, 375–377; Зализняк и Янин 1992–1993) и берестяная грамота № 724 1161–1167 гг., которая, по словам исследователя, «оказывается уникальным свидетельством того, что в древней Руси грамотные люди (или, по крайней мере, некоторые из них) умели писать в разных манерах, т.е. были способны при надобности менять свою орфографическую и грамматическую установку» (Зализняк 1995, 298). У. Вермеер добавляет к таким текстам еще и грамоту № 142 (Вермеер 1997, 31–32).

Существенно понять, что представляет собой нормализация, свой-

ственная рассматриваемому идиому. Зализняк называет данный идиом «стандартным древнерусским языком» и понимает под ним «некоторую образцовую форму древнерусского языка, применявшуюся (хотя бы в некоторых ситуациях) на всей территории древней Руси». Она, видимо, была ориентирована на столичный диалект Киева и «употреблялась главным образом при составлении официальных документов» (Зализняк 1995, 3). Это предполагает, что определенная манера письма (так называемая «бытовая система») воспринималась носителями как лишенная культурного престижа, а некоторые черты фоонетики и морфологии – как диалектные. Что определяло это восприятие, не вполне ясно. Зализняк, кажется, полагает (хотя и не утверждает этого эксплицитно), что эталоном, в сопоставлении с которым новгородцы ловили у себя черты провинциальной речи, был язык Киева или похожее на этот язык новгородское койне (ср.: Зализняк 1987). Природа новгородского койне, равно как и его возможность служить точкой отсчета для нормализации вызывает серьезные сомнения (см.: Вермеер 1997, 24–26). Не кажется правдоподобной и ориентация на разговорный язык Киева: такие языковые переживания известны из современной диалектологии, однако характер контакта диалектов в этом случае слишком не похож на то, что мы можем предполагать для древней Руси, так что подобная ориентация выглядит анахронистически. В этой ситуации наиболее реальным эталоном кажется письменная традиция, сформировавшаяся вне Новгорода и затем усвоенная новгородскими писцами как особенность официальной и юридической письменности.

Возникновение этой письменной традиции можно рассматривать как результат взаимодействия книжной орфографической выучки и традиционных формул обычного права. Само по себе распространение письменной документации происходит, видимо, под влиянием церкви (Франклин 1985), равно как и иные изменения юридической системы, так или иначе связанные с христианизацией (Кайзер 1980, 164–188). В этих условиях понятно, что первоначально официальные документы создавались клириками, обладавшими навыками книжного письма. Те скудные фактические сведения, которыми мы располагаем (см. выше), по крайней мере не противоречат такому предположению. Поскольку право оставалось обычным, язык юридических и деловых текстов был не книжным; поскольку же орфографические навыки были книжными, при письменной фиксации договорных отношений не использовалась бытовая система письма (хотя имеются исключения: имею в виду список А Смоленской грамоты 1229 г.), а диалектные формы по мере возможности исключались. Нормализация, очевидно, не была вполне последовательной, так что отдельные диалектные формы в договорах и юридических текстах все же встречаются, однако она создавала самостоятельный узус, который мог затем преемственно воспроизводиться (в том числе, и на новгородской территории)¹⁶.

Постепенно создаются и социальные условия для закрепления и поддержания этой преемственности. Как отмечает С. Франклин, ранние берестяные грамоты (XI–XII вв.) «contain no evidence for the use of

scribes» (Франклин 1985, 9), позднее положение явно меняется. Например, духовные грамоты во многих случаях составлялись, видимо, не завещателями, а свидетельствующим их священником или третьим лицом. Очевидно, в XIII–XIV вв. писцовая деятельность может становиться профессиональным занятием. Вместе с тем обростаёт документацией и деятельность бюрократическая, что предполагает появление профессиональных канцелярских служащих. В рамках подобных социальных групп преемственность навыков письма осуществляется как передача профессионального умения. Существенную роль в этом процессе играет развитие скорописи. Скоропись появляется в XIV в. в некоторых грамотах и затем функционирует как деловое письмо по преимуществу. Как отмечает В.Н. Щепкин, она употребляется «прежде всего в памятниках, кон служат практическим целям: в документах дипломатических [...] административных [...] судебных [...] хозяйственных [...]. В таком употреблении скоропись довольно распространена уже в XV в., а в XVI и XVII вв. господствует» (Щепкин 1967, 136). Хотя скоропись встречается и в книжных памятниках, она прежде всего связана с делопроизводством. Будучи своего рода профессиональным умением, скоропись оказывается предметом специального обучения. В результате оказывается, что люди могут понимать книжное письмо и не понимать скорописи и наоборот (свидетельства о таком положении и указания на обучение скорописи см.: Успенский 1987, 199–200). Понятно, что в подобных условиях происходит не только передача каллиграфических приемов, но и собственно языковых навыков. В результате формируется автономный регистр некнижного письменного языка, вырабатывающий собственный преемственно воспроизводимый узус.

Когда говорится о Московской Руси, этот узус именуется приказным языком. Наиболее выразительной лингвистической особенностью приказного языка является его синтаксис, а именно так называемое «нанизывание» предикативных конструкций, при котором рема (или один из ее составляющих) первой предикативной конструкции повторяется как тема во второй, рема (или один из ее составляющих) второй предикативной конструкции повторяется как тема в третьей и т.д., создавая особый тип подчинительной связи. Элементарный пример такого построения можно найти, например, в двинской грамоте XV в.: «А тыхъ всихъ *сель* пожни, и ловища, и страдомыи земли, и лѣсы. а то к тымъ *села*мъ по старинѣ, ис которого *села* гдѣ дѣлали» (ГВНП, № 278, с. 278). Подобное нанизывание можно рассматривать как специфическое применение того принципа расположения глагола содержания слева, деталей – справа, о котором говорилось выше. Специфика состоит в том, что всякая следующая предикативная конструкция служит пояснением предыдущей, что и выстраивает их в цепочку. Первые ясные примеры таких построений появляются в XV в. (ср., например, статью 68 «О полевых пошлинах» в Судебнике 1497 г.), в дальнейшем они получают чрезвычайное развитие. Вопрос о преемственности данной синтаксической стратегии с предшествующим

узусом неясен и требует дальнейших разысканий, однако вполне очевидно, что в консолидации делового регистра «нанизывание» играет исключительно важную роль, поскольку особая синтаксическая стратегия однозначно свидетельствует о том, что выделение отдельного типа текстов ясно осознается пишущими. В рамках этого синтаксически оформленного узуса в нем закрепляются и характерные особенности орфографии и морфологии¹⁷.

5. Механизмы преемственности и развитие письменного языка

Вернемся теперь к тем вопросам, которые были поставлены в начале данной работы. Мы говорили о том, что письменный язык не является искусственным образованием, письменный узус относительно независим от устного, и внутри него действуют механизмы преемственности, аналогичные тем, которые работают в устном языке. Преемственность письменного узуса не означает, понятно, его неизменности. Письменный язык меняется так же, как и устный, и системные («естественные») факторы развития действуют в нем не в меньшей степени, чем в устном. И так же как в эволюции устного языка, они действуют наряду с факторами внешними – контакта с другими системами, социокультурных воздействий, смены эстетических оценок и риторических стратегий. Различие, как уже указывалось, состоит в том, что в случае устного узуса механизмы преемственности работают с речью предшествующего поколения, а в случае письменного узуса – с тем (разновременным) корпусом текстов, из чтения которых складывается языковой опыт данного поколения пишущих. Обратившись к проблеме регистров, мы ставили задачу определить, в каких рамках действует эта преемственность письменного узуса. Мы исходили при этом из предположения, что средневековая ситуация отличается от той, которая обычна для современных стандартных языков, обладающих полифункциональностью, всеобщностью и кодифицированностью. Письменный узус в средние века не был универсальным ни в социальном, ни в функциональном отношении, а из этого следует, что не была универсальной и преемственность. Она действовала лишь в пределах определенного регистра, и именно в силу этого для реконструкции механизмов преемственности существенно понять, как, когда и в каком количестве формировались регистры письменного языка. Языковой опыт был фрагментирован, и языковые навыки воспроизводились и эволюционировали в рамках отдельных регистров. Иллюстрацией такого рода фрагментированной традиции может служить история окончаний существительных *o*-склонения во мн. числе в гомилетической литературе XVII–XVIII вв. На протяжении почти ста лет при меняющемся объеме *a*-экспансии здесь сохраняется то соотношение падежей по пропорции новых флексий, которое установилось в проповедях Симеона Полоцкого и не совпадало при этом с соотношением, характерным для других литературных традиций

(см. подробнее: Живов 1995); такая преемственность возникает явно в силу того, что языковые навыки, используемые при писании гомилетических сочинений, формируются у проповедников на основе освоения текстов их предшественников в этом жанре.

Изменение письменного узуса в рамках одного регистра происходит, надо думать, таким же образом, как и изменение устного узуса: новое поколение реинтерпретирует опыт предшествующего (предшествующих). Носитель, формирующий свои языковые навыки, наново анализирует воспринимаемый им узус и, извлекая из него правила употребления, переформулирует условия их приложения (что и дает рефонологизацию в фонетике, аналогические преобразования в морфологии и т.д. – см.: Андерсен 1973; Андерсен 1989). Поскольку исходным материалом для формирования письменных навыков является не узус предшествующего поколения, а корпус известных пишущему текстов, принадлежащих определенному регистру, он реинтерпретирует именно эти данные, имея дело, таким образом, с одновременной совокупностью образцов. Если отвлечься от этого обстоятельства, процесс реинтерпретации может иметь системный характер. Такого рода изменение было прослежено А. Тимберлейком в истории форм имперфекта в Лаврентьевской летописи (Тимберлейк 1997). Рассматривая контексты, в которых имперфект употребляется с аугментом {-т(ь)} в разных сегментах летописи, Тимберлейк пришел к выводу, что динамика употребления аугмента имеет системный характер. От одного сегмента к другому происходит семантическая реинтерпретация контекстов, ничем по своей модели не отличающаяся от той, которая реконструируется для исторического синтаксиса разговорного языка. Как указывает исследователь, «изменение проходит поэтапно, причем инновации предшествующего этапа оказываются отправным моментом для инноваций следующей стадии процесса» (Тимберлейк 1997, 86)¹⁸. Исключительно любопытным представляется здесь то обстоятельство, что эта эволюция имеет место при том, что в разговорном языке в XII–XIII вв. имперфект уже не был живой категорией. Описанная эволюция, следовательно, совершается внутри письменного языка, точнее, его формирующегося гибридного регистра, и это демонстрирует автономную системность письменного узуса.

Тот факт, что материалом для этого открытия послужила летопись, отнюдь не представляется случайным. Летописание может служить идеальным предметом исследования при изучении эволюции письменного узуса. Реконструировать механизмы преемственности позволяет лингвистическая гетерогенность летописей. Те части, которые книжник воспроизводит, основываясь на удаленных от него по времени источниках, и те части, которые он пишет самостоятельно, связаны непрерывной цепью связующих звеньев, указывающих на постепенность эволюции узуса (ср.: Живов 1995а; Петрухин 1996). Летописец, излагая события, не известные ему как современнику, пользовался источниками, написанными до него, чаще всего просто их

воспроизводя или компилируя. Части летописи, восходящие к более ранним источникам, сохраняют языковые особенности своего времени, но вместе с тем обнаруживают их восприятие позднейшим автором, интерпретировавшим их лингвистические характеристики в соответствии со своим языковым опытом. В этих частях механизм реинтерпретации воздействует на воспроизводимый текст, обуславливая вносимые в него исправления. Вместе с тем новый текст, добавленный летописцем, позволяет увидеть, как тот же опыт реализуется в собственных письменных навыках редактора.

Понятно, что членение на воспроизводимую и оригинальную части не всегда однозначно. Летописец может компилировать не из одного, а из нескольких источников, и в этом случае его вмешательство в воспроизводимый текст будет, как правило, более значительным. В самом процессе компиляции источники подвергаются определенной обработке: сокращаются, пересказываются, дополняются комментариями, и в ходе этой работы летописец ориентируется одновременно и на язык обрабатываемых текстов, и на собственные языковые представления, так что расчленив отдельные пласты оказывается порой достаточно сложно. Равным образом, и оригинальная часть обычно оригинальна в разной степени. Одни сообщения практически повторяют предшествующие (например, сообщения о рождении или смерти князя, обретении мощей, пожарах и т.д.), и автор часто пользуется в этом случае теми же выражениями, которые он только что воспроизводил, компилируя из чужих текстов, и может повторять их синтаксические и морфологические особенности. Другие сообщения, как уже упоминалось выше, труднее соотносятся с готовыми образцами, и в них поэтому инновации, связанные с реинтерпретацией, будут более заметными. Из того, что говорилось выше, ясно, что вопрос о членении на воспроизводимый и оригинальный материал зависит и от уровня языка, подвергаемого анализу. На это указывал еще Н.Н. Дурново, писавший: «[П]озднейшие переписчики, хотя и вносили в текст изменения согласно современным им орфографическим и грамматическим нормам, не могли стереть всех следов своих протографов. Данные для истории р. языка за XI–XIII вв., извлекаемые из летописных сводов XIV в. и позднее, касаются главным образом синтаксиса, в меньшей степени морфологии и в еще меньшей – фонетики» (Дурново 1969, 112–113). Разная оценка явлений разных уровней связана с уже упоминавшимися различиями в работе книжника с орфографическими, морфологическими и лексическими элементами.

Дурново, правда, пишет о нормах, что, как мы видели, предполагает иную («искусственную») модель развития письменного языка, чем та, которая предлагается в настоящей работе. С нашей точки зрения, речь должна идти об изменении узуса (языковых навыков) и приведении воспроизводимого текста в частичное соответствие с этими навыками. Изменение узуса может происходить, как ясно из примера с аугментом имперфекта, в силу внутренних (системных) причин, но может быть вызвано и внешним воздействием. Именно как внешнее воздействие следует рассматривать и влияние разговорного

языка пишущего. Так, например, в XVII в. в связи с развитием категории вида в видовых категориях может переосмыслиться оппозиция книжных претеритов, что отражается в ряде летописных кодексов этого времени (см. о Мазуринском летописце: Живов 1995а; о Пискаревском летописце: Петрухин 1996). Простые претериты не исчезают из письменного узуса (как должно было бы быть, если бы письменный узус был простым отражением разговорного), но подвергаются семантическому переосмыслению, и категории, в которых это переосмысление осуществляется, находят соответствие в разговорном языке.

Переосмысление, мотивированное разговорным языковым опытом пишущего, может быть более или менее радикальным. Степень радикализма зависит, видимо, от того, насколько велик и осмыслен читательский опыт автора. Если этот опыт ограничен и неотрефлексирован, переосмысление может заходить достаточно далеко (или, напротив, автор может буква в букву копировать свои оригиналы, и тогда переосмысление вообще никак не реализуется). Примером может служить Мазуринский летописец, составитель которого не обладал, видимо, большим опытом книжной деятельности. В оригинальной части его летописи простые претериты составляют лишь четверть всех форм прошедшего времени, тогда как в воспроизводимых частях более трех четвертей, так что отсутствие простых претеритов в разговорном языке автора отражается в тексте в полной мере. Он не в ладах с книжными причастными формами, и поэтому смешивает их с личными глагольными формами, не согласует их по роду и числу, старит их не в те падежи (Живов 1995а). Отсюда и радикальность переосмысления грамматических форм в воспроизводимых частях.

Наиболее яркий пример подобного переосмысления в Мазуринской летописи наблюдается в начальной части текста, в статьях, заимствованных из святцев. В этих статьях регулярно употребляется форма аориста 3 мн. *быша* при субъекте в ед. числе, причем субъект может обозначаться как формой им. ед., так и формой род. ед., ср.: «Лета 5852, в та же лета *быша* святыи мученик Иоанн Воинственник в царство Иулиана Преспутника (sic!)» (ПСРЛ, XXXI, 25); «Того же году, в та лета *быша* святаго священномученика Тимофея, епископа прусскаго, в царство Иулиана Преступника» (там же); «Того же году, в та лета *быша* иже во святых отца нашего Павла Исповедника» (там же). Возможно даже совмещение формы им. ед. и род. ед. при обозначении одного субъекта: «Того же году, в та лета *быша* иже во святых отец наш Кирила» (там же, 24); «Того же году *быша* преподобны отец наш Харитон Исповедник, живша и пострадаша в царство Аврелиане» (там же, 18). Реже в этой же функции употребляется форма ед.ч. *бысть* – опять же без согласования, ср.: «Того же году, в та лета *бысть* святых мученик и исповедник Гурия Самона» (там же, 19). Во всех этих случаях мы имеем дело, видимо, с трансформациями стандартной записи в святцах, использующих причастие *бывша* или *бывшаго* типа «Святаго апостола Иакова брата Господня по плоти, епископа *бывша* перваго во Иерусалиме» (23 октября). В нескольких случаях сохра-

няется и исходная причастная форма, ср.: «Того же году, в та же лета *бывшаго* иже во святых отца нашего архиепископа...» (там же, 23); «Лета 5850, в та лета *бывша* преподобнаго отца нашего Аврамия Затворника» (там же, 24). Отсюда объясняется и появление род. ед. вместо им. ед.: в святцах при перечислении опускается заглавное слово *память* или *празднование*. Редкие вкрапления статей, демонстрирующих данные языковые аномалии, попадают и в других частях летописи; они всякий раз указывают на заимствование из святцев. Причастие исходного текста явно было осмыслено составителем как универсальный предикат с неясной ему субъектной валентностью.

Более изощренные книжники столь радикальной реинтерпретации не допускают. Поэтому различия между воспроизводимым узусом и оригинальным узусом оказываются не столь велики. Когда мы имеем дело с летописью, составленной последовательными трудами нескольких поколений летописцев, реинтерпретация может реализоваться как постепенный процесс, при котором воздействие разговорного узуса возрастает, так сказать, на прецедентной основе: каждое следующее поколение идет несколько дальше своих предшественников, пользуясь их узусом как прецедентом; подобную динамику трудно отличить от внутреннего системного развития письменного узуса. Именно в этом ключе можно интерпретировать ту экспансию употребления перфекта в Лаврентьевской летописи, которая весьма убедительно была реконструирована Э. Кленин (Кленин 1993). Расширение сферы употребления перфекта происходит за счет реинтерпретации, при которой позднейший летописец всякий раз опирается на прецеденты, встреченные у своего предшественника, но придает им более общее значение: результатив воспринимается как любое ненарративное употребление, ненарративное употребление понимается затем как категория, приложимая к любому действию, упоминаемому вне строгой нарративной последовательности. Поскольку этот процесс имеет вид системного (естественного), Э. Кленин предполагает, основываясь на представлении о тождестве системного («естественного») и разговорного, что мы имеем здесь дело с непосредственным отражением развития разговорного языка. Доказать эту гипотезу так же сложно, как опровергнуть, поскольку данными о разговорном языке XI–XIV вв. мы не располагаем. Не менее правдоподобно во всяком случае, что экспансия употребления перфекта в разговорном языке предшествовала всем тем изменениям, которые мы наблюдаем в Лаврентьевской летописи, а системность наблюдаемых изменений обусловлена постепенностью реинтерпретации.

К реинтерпретации, обусловленной внешними воздействиями, относятся, конечно, и изменения, связанные с влиянием стандартного книжного регистра. Реинтерпретация этого типа практически не затрагивает семантику синтаксических конструкций и грамматических категорий и ограничена относительно поверхностными явлениями. Такое положение понятно, поскольку противопоставление стандартного и гибридного регистров соотносится не с разным восприятием

книжного языка, его синтаксических построений и морфологических категорий, а с разной степенью ориентации на образцы «правильного» церковнославянского (см. выше). Поэтому влияние стандартного регистра ограничивается такими феноменами, как орфографические инновации, например, проникновение в летописные памятники написаний, характерных для нормы, установившейся после второго южнославянского влияния; гибридные тексты усваивают такие написания значительно позже, чем стандартные, и проводятся они в них менее последовательно. Сходные явления, хотя и более скромные по масштабу, могут быть отмечены и в морфологии. В лексике аналогичные феномены представлены в так называемой славянизации лексики (см.: Филин 1949, 28–37), выразительные примеры которой могут быть найдены, например, при сопоставлении Степенной книги, стремящейся к книжному стандарту, и ее источников (Успенский 1987, 248–250).

Таким образом, обращение к языку летописей позволяет увидеть тот комплекс факторов, который обуславливает изменения в письменном языке. По своей природе, как обнаруживается, они не отличаются принципиально от факторов, мотивирующих эволюцию разговорного языка, поэтому нет оснований рассматривать историю письменного узуса как нечто целиком искусственное или целиком вторичное. Отличия в характере динамики письменного и устного языка могут рассматриваться как частные; они определяются тем, что в реинтерпретации предшествующего узуса в письменном языке существенную роль играет опыт разговорного языка носителей, что, впрочем, типологически близко процессам реинтерпретации, происходящим при контакте диалектов. Вместе с тем письменный узус (фрагментированный в средние века по отдельным регистрам) обладает собственной органической динамикой, основанной на трансформации навыков, сформировавшихся в процессе чтения, в навыки активного употребления письменного языка. Конкретные параметры этого механизма требуют дальнейшего тщательного изучения, однако а priori ясно, что в данной перспективе принципиально иным образом ставится проблема определения языковой ситуации древней Руси, соотношения русского и церковнославянского, неоднородности (фрагментированности) письменного узуса, роли отдельных уровней в дифференциации регистров письменного языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Это соответствует тому общему определению литературного языка, которое дает Б.А. Успенский: «Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующийся в авторитетной для данного общества письменности – литературе» (Успенский 1987, 7).

² Эта связь просматривается прежде всего в выборе фонетических и морфологических признаков и невнимании к синтаксическим и лексическим параметрам. Из сферы исследовательских интересов выпадают книжный синтаксис и абстрактная лексика, т.е. те явления, которые были заведомо нерелевантны для сравнительно-

исторического изучения в силу своего «неорганического» происхождения (калькирования, искусственного словопроизводства и т.д.).

³ Я имею в виду определение литературных языков нового времени в русле пражских традиций. Литературные языки нового типа характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. В них реализуется государственная монополия на власть (ср.: Живов 1996, 13–16), так что сами они представляют собой, согласно определению Пражских тезисов, «le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante» (Вахек 1964, 45).

⁴ В качестве хорошей иллюстрации можно указать на Троицкий сборник конца XII – начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12 – см. изд.: Половски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пандекты Антиоха. Как установил Н. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989, 120–134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно со старейшей рукописи Пандектов – ГИМ, Воскр., 30 XI в. (см. изд.: Поповски 1989а), так что соответствующие рукописи представляют собой одну древнейшую в славянской письменности пару антиграф-апограф. Троицкий сборник написан несколькими писцами, орфография которых различается по ряду параметров. Все они тем не менее приводят правописание копировавшейся ими рукописи XI в. в соответствии с орфографическими нормами своего времени (ср.: Живов 1996а, 189–191).

⁵ В цитируемой работе Г. Лант подвергает критике типологию А. Молдована (Лант 1996, 22). Какие принципиальные моменты затрагивает эта критика, остается мне неясным. Кажется, Лант возражает против того, чтобы рассматривать выделенные типы как «laws», однако Молдован таких претензий не заявляет, говоря только о «типах замен». Далее Лант утверждает, что для построения данной классификации необходимо знать, «when a word is colloquial, regional, or archaic», а такими знаниями мы не располагаем. И правда, полного знания у нас нет, однако для отдельных лексем установить и доказать их региональный, арханский или маркированный в стилистическом отношении характер вполне возможно, и этих известных случаев достаточно для построения типологии; Лант и сам пользуется теми же категориями, как можно видеть из приведенной цитаты. Содержательнее другое замечание Ланта. Он полагает, что убеждение Молдована, будто его замены «can go only in one direction», основано на иллюзии, однако ни одного опровергающего примера Лант не приводит, ограничиваясь утверждением, что «scribal vagaries are not governed by such neat precepts». Соответственно и общий вывод Ланта сводится к тому, что «each case must be weighed separately» (там же, 20). Это, конечно, неплохой совет, но если автор не может предложить ничего более содержательного, от инвектив лучше воздержаться.

⁶ Любые попытки однозначно описать прагматические параметры данного типа требуют определенных, хотя и достаточно очевидных оговорок. Например, книжные тексты могут быть формально обращены к конкретному лицу (как, скажем, Поучение Владимира Мономаха своим детям или послание Климента Смолятича Фоме), но имплицитно адресоваться более широкой аудитории (писаться для всеобщего сведения). Социум-адресат книжного текста может быть лишь ограниченной частью общества в целом (так, скажем, монашеские уставы предназначены прежде всего для монахов), однако в этом случае вычленение адресата основано на религиозном критерии, и это отличает подобные тексты от Русской Правды или договорных грамот; последние имеют публичный характер, обращены при этом к части общества (административному аппарату), но часть эта выделяется по критериям, не имеющим отношения к культурным ценностям общества. Можно представить себе и иные казусы этого рода.

⁷ Впрочем, и в лексике существуют тематические сферы, в которых можно говорить об оппозиции книжных и не книжных единиц. К таким сферам относится прежде всего юридическая терминология. В юридических текстах, переведенных с греческого (Закон градский, Эклога и др.), лишившихся у восточных славян собственно юридического значения, но зато приобретших значение религиозное, употребляется книжный (церковнославянский) язык и книжная юридическая терминология. В памятниках местного права, имевших практическое значение, но лишенных значения религиозного, употребляется не книжный язык и не книжная юридическая терминология (Живов, 1988). Выбор книжной или не книжной терминологии обусловлен культурологической установкой, а не тематикой, поскольку тематика этих текстов в существенной мере совпадает.

⁸ Редкий случай такого рода находим, например, в новгородской берестяной грамоте № 419 XIII в., представляющей собой единственную известную на сей день берестяную книжечку. Бытовым письмом записаны здесь две стихирьы. По предположению А.А. Зализняка, ее мог изготовить «для себя кто-нибудь из певчих церковного хора» (Зализняк 1995, 430).

⁹ О неоднородности отдельных признаков, противопоставляющих книжный (церковнославянский) и некнижный языки, писал в свое время В.Д. Левин, впрочем, формулируя эту проблему недостаточно четко (Левин 1984). Вопрос об иерархической упорядоченности отдельных признаков в книжной и некнижной письменности вполне отчетливо ставит А.А. Гиппиус (Гиппиус 1989).

¹⁰ Само собой разумеется, что это рассматривалось не как недостаток, но как достоинство сочинения, указывавшее на его соотнесенность с онтологическим образцом, его истинность. Так во всяком случае обстояло дело с религиозными сочинениями (житиями, службами местным святым, гомилетикой и т.д.). Поскольку, однако, они были средоточием всей книжной письменности, построение по топосам оказывалось ее общим принципом, распространявшимся и на те произведения, религиозная установка которых была менее выраженной (например, летописи).

¹¹ Хорошие ранние примеры такого рода некнижных текстов подобрать достаточно трудно, поскольку не вполне ясны признаки некнижного языкового стандарта. Возможной иллюстрацией представляются Уставы Владимира и Ярослава о церковных судах, вводные статьи которых характеризуются несколько более книжным синтаксисом, равно как, видимо, и рядом книжных форм, отличающих эти статьи от последующего изложения, имеющего конкретное юридическое содержание. В более поздних текстах примеры найти проще; здесь можно указать хотя бы на статью 10 главы XIV Уложения 1649 г. о крестном целовании, не похожую по языку на тот некнижный языковой стандарт, который вполне отчетливо представлен в остальном тексте.

¹² В этот же план обучения могли входить, видимо, и эпистолярные формулы, ср., например, переход в истории берестяной письменности от начальной формулы с «поклананне» к формуле со словом «покланъ» (Ворт 1984).

¹³ Не стоит думать, конечно, что, если бы восточнославянское летописание строилось по образцу византийского, это означало бы, что Амартол и Малала задавали бы для него языковые стереотипы. Сам механизм ориентации на образцы предполагает, что соответствующие тексты если и не были выучены наизусть, то по крайней мере находились на слуху у книжника (как постоянно читаемые жития или поучения); хронографические памятники к числу таких текстов явно не относились. Когда при составлении Повести временных лет в нее были включены выдержки из Амартола (Шахматов 1940), летописец несомненно пользовался рукописью, а не цитировал по памяти. При таком цитировании языковые стереотипы не возникали.

К вопросу о связи восточнославянского летописания с западноевропейским стоит отметить, что на Западе, как и в Киевской Руси, летописание сосредоточено в монастырях и обычно тем или иным образом отражает интересы определенной монастырской общины или епархии, тогда как в Византии «the writing of annals or chronicles was not maintained on a regular basis in any Byzantine monastery» (Манго 1988–89, 362).

¹⁴ Трудности в интерпретации возникают из-за того, что исследователи стараются прочесть его в согласии с привычным книжным синтаксисом. Шахматов полагал, что слова и Козарѣ переставлены и реконструировал данное место следующим образом: «а хрестьяную Русь водина ротѣ въ църкѣви святого Илиѣ, яже естъ надъ Ручаемъ, конць Пасынъчѣ бесѣды: се бо бѣ съборная църкы, мнози бо бѣша Варязи и Козаре хрестьяне» (Шахматов 1916, 61). Эта реконструкция полностью произвольна, поскольку списки не дают для нее никакого основания. Правда, форма Козарѣ – это плохой вин. мн. от Козаринѣ, но и хорошего им. мн. из нее не получается; наряду с эмендацией Козаре (им. мн) можно с тем же успехом предположить, что писец Лавр. просклонял Козаринѣ по мягкой разновидности (вин. мн.).

¹⁵ Автономизацию гибридного регистра можно продемонстрировать на истории целого ряда формальных признаков. Иллюстрацией может служить, например, судьба

окончаний полных прилагательных в им.-внн. падеже мн. числа. В стандартном церковнославянском соответствующие флексии имеют вид: им. мн. м. рода – *-иѣ*, вин. мн. м. рода – *-ыѣ*, им.-внн. мн. ж. рода – *-ыѣ*, им.-вин. мн. ср. рода – *-аѣ*. Первоначально в не книжном языке существовала сходная система с тем лишь отличием, что в вин. мн. м. рода и в им.-внн. мн. ж. рода флексий было *-ыѣ*. В текстах XI–XIV вв. эта система выдерживается без значительных отклонений: в книжных памятниках – книжная, в не книжных – не книжная. В летописях реализуется книжная система со спорадическими отклонениями, когда в внн. мн. м. рода и в им.-вин. мн. ж. рода появляется флексия *-ыѣ*. Сверх того, с середины XIII в. в текстах разного типа появляются контаминированные флексии им.-вин. мн. м. рода – *-ын*.

В XV в. не книжная система существенно меняется. В XVI в., по наблюдениям Унбегауна, «[I]e nominatif offre normalement la terminaison *-ые, -ie* qui est, à l'origine, celle de l'accusatif masculin et du nominatif accusatif féminin. On a là une généralisation de la forme de l'accusatif, que l'on a pu constater déjà dans la flexion du type en *-о*. Très rarement on trouve la terminaison *-ын* [...] Les formes en *-ыи* ont été relativement fréquentes aux XIV^e et XV^e siècle a côté des formes en *-ыѣ* et *-ые*; la dernière charte moscovite qui les offre en quantité considérable (environ 25 exemples) est de 1496» (Унбегаун 1935, 326). Переход от старой системы к системе, совпадающей с современной, как раз и охватывает XV столетие. Этими наблюдениями историки языка обычно ограничиваются, поскольку дальнейшее развитие «*p'arpele que peu de remarques*» (Унбегаун 1935, 326). Действительно, в устном языке устанавливается современная система, а в стандартных церковнославянских памятниках сохраняется старая книжная, и ничего достойного внимания, кажется, не происходит.

Если, однако, обратиться к гибридным текстам и прежде всего летописям, оказывается, что наряду с флексией *-ые* не менее широкое распространение получает здесь и флексия *-ыѣ* (эта флексия встречается, впрочем, и в бытовых текстах, хотя и нерегулярно, а окказионально и в текстах приказных, например, в начале главы XVI Уложения 1649 г. – см.: Кокрон 1962, 120–121; Черных 1953, 307–308). Устанавливается узус, в котором недифференцированные по роду варианты *-ыѣ/-ые* накладываются на старую систему дифференцированных по роду флексий. В им. мн. м. рода и в им.-внн. мн. ср. рода это дает наборы, в которых дифференцированные флексии *-иѣ/-ыи* и *-аѣ/-яѣ* соседствуют, употребляясь в разных пропорциях, с флексиями *-ыѣ/-ые*, а в вин. мн. м. рода и им.-вин. мн. ж. рода набор состоит лишь из флексий *-ыѣ* и *-ые*, причем *-ыѣ*, как правило, встречается существенно чаще, чем *-ые*. Этот узус может рассматриваться как результат интерференции книжных и не книжных навыков, однако, поддерживаясь в течение трех столетий, он явно обретает самостоятельность и воспроизводится в силу преемственности языкового поведения книжников, создающих тексты соответствующего типа. В этой перспективе понятно, почему в XVIII в. норма русского литературного языка нового типа сохраняет две флексии *-ыѣ* и *-ые*, приписывая им в то же время дифференциацию по роду.

¹⁶ У. Вермеер, ставя под сомнение само понятие стандартного древнерусского, пишет, что оно «suggests all kinds of phenomena that are unlikely to have existed in medieval Russia, such as conscious standardization of the vernacular, of formal teaching in supra-dialectal varieties of Russian. The term is obviously anachronistic: what medieval vernacular language of Europe was standardized to such a degree that the modern concept of standard language was applicable?» (Вермеер 1997, 24–25). Термин, возможно, действительно выглядит анахронистически, однако тот путь формирования письменной традиции делового языка, который был предложен выше, не предусматривает ни формального обучения наддиалектной разновидности, ни сознательной нормализации разговорного языка, поскольку нормализация осуществляется как экстраполяция уже сложившихся письменных навыков на сферу не книжного языка. Складывающаяся норма не похожа на нормы современных стандартных (литературных) языков, во-первых, поскольку она не имеет универсального характера, а реализуется лишь в текстах определенного типа, а во-вторых, поскольку нормализация в ней охватывает лишь ограниченный набор языковых элементов. Ситуация западноевропейского средневековья не может служить в данном случае хорошим аналогом, поскольку навыки письма, выработанные при пользовании латынью, нельзя перенести на немецкий или даже французский, тогда как

навыки письма, выработанные при употреблении церковнославянского, достаточно легко трансплантируются на восточнославянский языковой материал.

¹⁷ Об орфографической и морфологической норме приказного языка Московской Руси имеется большая, хотя часто и не безупречная по методологии литература (из образцовых работ см. прежде всего: Пеннингтон 1980). Отдельные морфологические варианты (такие, например, как флексия прилагательных им ед. м. рода *-ой* или род. ед. ж. рода *-ые*) получают здесь характер если не абсолютный, то доминирующей нормы. Более интересными представляются те случаи, когда преемственность распространяется не на нормативные черты, которые поддаются эксплицитной регламентации, а на элементы узуса. Так, в приказных текстах XVII в. складывается особое употребление флексий существительных м. рода *о*-склонения во мн. числе. Пропорция новых флексий *-амь*, *-ами*, *-ахъ* по отношению к старым флексиям *-омь*, *-ы/-ьми*, *-ьхъ/-ехъ* составляет в них не более 40% (в бытовых текстах этот процент может быть выше), причем *а*-экспансия в наибольшей степени характеризует тв. мн., за которым следует местн. мн. при наиболее консервативном дат. мн. Такой характер *а*-экспансии связан с присущей приказному языку нормализацией и отличает его как от гибридного языка, так и от языка бытовых текстов. Ясно, что статистические пропорции никакой регламентации не поддаются, так что устойчивость данной характеристики обусловлена исключительно «естественной» (возникающей в рамках естественного подражания читаемым текстам) преемственностью (см. подробнее: Живов 1993).

¹⁸ А. Тимберлейк суммирует эту эволюцию следующим образом: «[В] качестве исходного состояния выделялся один четко определенный контекст – позиция имперфекта непосредственно перед энклитическим местоимением и (в аналогичными местоимениями *я*, *ю*, а также, возможно, *вин.-род. нхъ*). Отсюда {-’} распространяется на положение перед другими местоимениями, включая возвратное. Другая линия развития, основанная на том, что глагол со своими местоименными энклитиками часто стоит в начале предложения, ведет к обобщению {-’} в позиции перед другими энклитиками, которые помещаются после начального глагола, а именно перед энклитическими частицами *во* и *же*. [...] Сверх того, {-’} употребляется в предложениях, содержащих частицы *во* и *же* даже в тех случаях, когда глагол не стоит непосредственно перед частицей, если только предложение имеет модальный характер [...] Наконец, с середины XIII в. {-’} может, как кажется, употребляться вполне свободно, преимущественно, однако, в предложениях, обнаруживающих элемент нарративной условности (зависимости) в противоположность чистому описанию» (Тимберлейк 1997, 85).

ЛИТЕРАТУРА

- Андерсен 1973 – *H. Andersen*. Abductive and Deductive Change // *Language* 49 (1973), 765–793.
- Андерсен 1989 – *H. Andersen*. Understanding Linguistic Innovations // *Language Change. Contributions to the Study of Its Causes*. Ed. by L.E. Breivik and E.H. Jahr. Berlin; New York, 1989, 5–27 [Trends in Linguistics. Studies and Monographs 43].
- Вахек 1964 – *J. Vachek* (ed.). *A Prague School Reader in Linguistics*. Bloomington, 1964.
- Вермеер 1994 – *W.R. Vermeer*. On Explaining Why the Early North Russian nominative singular in *-e* does not palatalize stem-final velars // *Russian Linguistics*, 18 (1994), 145–157.
- Вермеер 1997 – *W.R. Vermeer*. Notes on Medieval Novgorod Sociolinguistics // *Russian Linguistics*, 21 (1997), 23–47.
- Виноградов 1938 – *В.В. Виноградов*. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. Изд. 2-е. М., 1938.
- Виноградов 1958 – *В.В. Виноградов*. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958 (IV Международный съезд славистов. Доклады).
- Ворт 1978 – *D.S. Worth*. On «Diglossia» in Medieval Russia // *Die Welt der Slaven*, XXIII (1978), 2, 371–393.
- Ворт 1984 – *D.S. Worth*. Incipits in the Novgorod Birchbark Letters // *Semiosis: Semiotics and the History of Culture* (in Honorem Georgii Lotman). University of Michigan, 1984, 320–332.

- ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
- Гиппиус 1989 – А.А. Гиппиус. Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения // Вопросы языкознания, 1989, № 2, 93–110.
- Гиппиус 1992 – А.А. Гиппиус. Новые данные о пономаре Тимофее – новгородском книжнике середины XIII века // Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. М., 1992, вып. 25, 59–86.
- Гиппиус 1996 – А.А. Гиппиус. «Русская Правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей 1282 г. (К характеристике языковой ситуации древнего Новгорода) // Славяноведение, 1996, № 1, 48–62.
- Гиппиус 1997 – А.А. Гиппиус. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997, вып. 6(16), 3–72.
- Гиппиус 1997а – А.А. Гиппиус. Древнерусские летописи в зеркале западноевропейской анналыстики // Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. Сборник тезисов 16 конференции памяти В.Д. Королюка. М., 1997, 24–27.
- Дурново 1969 – Н.Н. Дурново. Введение в историю русского языка Изд. 2-е. М., 1969.
- Еремин 1966 – И.П. Еремин. Литература Древней Руси. М.; Л., 1966.
- Живов 1988 – В.М. Живов. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988, 49–98.
- Живов 1988а – В.М. Живов. История русского права как лингво-семантическая проблема // Semiotics and the History of Culture. In Honor of Jurij Lotman. Columbus, Ohio, 1988, 46–128.
- Живов 1993 – В.М. Живов. Унификация склонения существительных в косвенных падежах мн. числа в памятниках XVII века: характер вариативности и обуславливающие ее факторы // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти профессора Г.А. Хабургаева. М., 1993, 93–110.
- Живов 1995 – В.М. Живов. Светский и духовный литературный язык в России XVIII века: взаимодействие и взаимоотталкивание // Russica Romana, vol. II (1995), 65–81.
- Живов 1995а – В.М. Живов. Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // Russian Linguistics, vol. 19 (1995), n. 1, 45–75.
- Живов 1996 – В.М. Живов. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Живов 1996а – В.М. Живов. Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика // Русистика. Славистика. Индоевропентика. Сборник к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996, 178–202.
- Живов и Тимберлейк 1997 – В. Живов, А. Тимберлейк. Расставаясь со структурализмом (Тезисы для дискуссии) // Вопросы языкознания, 1997, № 3, 3–14.
- Зализняк 1986 – А.А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986, 89–219.
- Зализняк 1987 – А.А. Зализняк. О языковой ситуации в древнем Новгороде // Russian Linguistics, 11 (1987), n. 2–3, 115–132.
- Зализняк 1995 – А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зализняк и Янин 1992–1993 – А.А. Зализняк, В.Л. Янин. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // Russian Linguistics, 16 (1992–1993), 185–202.
- Земская 1973 – Е.А. Земская (ред.). Русская разговорная речь. М., 1973.
- Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.Н. Ширяев. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
- Исаченко 1980 – А. Issatschenko. Geschichte der russischen Sprache. 1. Band. Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Heidelberg, 1980.
- Кейзер 1980 – D.H. Kaiser. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980.
- Кленни 1993 – E. Klenin. The Perfect Tense in the Laurentian Manuscript of 1377 // American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists. Bratislava, August–September 1993. Literature. Linguistics. Poetics. Ed. by R.A. Maguire and A. Timberlake. Columbus, 1993, 330–343.

- Ключевский 1871 – В.О. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
- Ковтун 1963 – Л.С. Ковтун. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.; Л., 1963.
- Кокрон 1962 – F. Cocron. La langue russe dans la seconde moitié du XVIII^e siècle (morphologie). Paris, 1962 [Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves, t. XXXIII].
- Лант 1988–89 – H.G. Lunt. The Language of Rus' in the Eleventh Century: Some Observations about Facts and Theories // Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989), 276–313 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'–Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Лант 1994 – H.G. Lunt. Lexical Variation in the Copies of the Rus' *Primary Chronicle*: Some Methodological Problems // Harvard Ukrainian Studies, XVIII (1994), n. 1/2, 10–28.
- Лаптева 1976 – О.А. Лаптева. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
- Левин 1984 – В.Д. Левин. К характеристике русского извода старославянского языка // Wiener slavistischer Almanach, 13, 1984, 171–196.
- Манго 1988–89 – С. Mango. The Tradition of Byzantine Chronography // Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989), 360–372 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus' – Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Мещерский 1962 – Н.А. Мещерский. К изучению языка и стиля новгородских берестяных грамот // Ученые записки Карельского пед. ин-та, т. 12 (1961). Петрозаводск, 1962, 84–115.
- Мещерский 1995 – Н.А. Мещерский. Избранные статьи. СПб., 1995.
- Молдован 1994 – А.М. Молдован. Критерии локализации древнеславянских переводов // Славяноведение, 1994, № 2, 69–80.
- Обнорский 1960 – С.П. Обнорский. Избранные работы по русскому языку. М., 1960.
- Пеннингтон 1980 – G. Kotlosin. O Rossii v carstvovanije Alekseja Michajloviča. Text and Commentary. Ed. by A.E. Pennington. Oxford, 1980.
- Петрухин 1996 – П.В. Петрухин. Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века // Вопросы языкознания 1996, № 4, 62–84.
- Пичхадзе 1996 – А.А. Пичхадзе. Предлог *къ* после глаголов движения при названиях городов в древнерусских оригинальных и переводных памятниках письменности // Вопросы языкознания, 1996, № 6, 106–116.
- Поповски 1987 – J. Popovski. Najstariji par antigrafa i apografa u slovenskoj pismenosti // Paleographie et diplomatique slaves, 3.
- Поповски 1989 – J. Popovski. Die Pandekten des Antiochus Monachus. Slavische Überlieferung. Amsterdam; Nijmegen, 1989.
- Поповски 1989а – J. Popovski. The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription // Полакта књингописнаца, № 23–24. January 1989.
- Поповски, Томсон, Федер 1988 – J. Popovski, F.J. Thomson, W.R. Veder. The Troickij Sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12). Text in Transcription // Полакта књингописнаца, № 21–22. February 1988.
- ПСРЛ, I–XXXIX – Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I–XXXIX. СПб., М., 1841–1994.
- Сухомлинов 1908 – М.И. Сухомлинов. Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908 [Сб. ОРЯС, т. LXXXV, № 1].
- Тимберлейк 1997 – А. Тимберлейк. Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // Вопросы языкознания, 1997, № 5, 66–86.
- Улуханов 1964 – И.С. Улуханов. Предлоги *пред–перед* в русском языке XI–XVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1964, 125–160.
- Унбегаун 1935 – В. Unbegaun. La langue russe au XVI^e siècle (1500–1550). I. La flexion des noms. Paris, 1935 [Bibliothèque de L'Institut français de Leningrad, t. XVI].
- Успенский 1983 – Б.А. Успенский. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Успенский 1987 – Б.А. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987.
- Фerguson 1959 – Ch.A. Ferguson. Diglossia // Word 15 (1959), 325–340.

- Филин 1949 – *Ф.П. Филин*. Лексика русского литературного языка древнерусской эпохи. (По материалам летописей). Л., 1949 [Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена, т. 80].
- Франклин 1985 – *S. Franklin*. Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum* 40 (1985), 1–38.
- Хютль-Ворт 1978 – *G. Hüttl-Worth*. Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen // *Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata*. Lisse, 1978, 187–190.
- Хютль-Фольтер 1978 – *Г. Хютль-Фольтер*. Диглоссия в Древней Руси // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, Bd. XXIV, 108–123.
- Хютль-Фольтер 1983 – *G. Hüttl-Folter*. Die trat/torot-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien 1983 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 420. Bd.].
- Целунова 1989 – Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова. Подготовка текста, составление словоуказателя и предисловие Е.А. Целуновой. München, 1989 [Slavistische Beiträge, Bd. 243].
- Черных 1953 – *П.Я. Черных*. Язык Уложения 1649 года. Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги. М., 1953.
- Шахматов 1916 – [*А.А. Шахматов*]. Повесть временных лет. Т. I. Вводная часть, текст, примечания. Пг., 1916.
- Шахматов 1940 – *А.А. Шахматов*. Повесть временных лет и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы, IV. М.; Л., 1940, 9–150.
- Шахматов 1941 – *А.А. Шахматов*. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.
- Шахматов и Шевелов 1960 – *A. Šachmatov, G.Y. Shevelov*. Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Wiesbaden, 1960 [Slavistische Studienbücher, I].
- Щепкин 1967 – *В.Н. Щепкин*. Русская палеография. М., 1967.